

И О В Ъ И У
М У Р

И О



1964

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL

№ 10

Октябрь, 1964 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>К 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова</i>	
ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ — Из пламя и света рожденное слово	3
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Встречи с Лермонтовым	6
Т. БОРИСОВ — Заботы и радости Тимофея Лунина (Страницы из жизни одного колхоза)	9
САЙФИ КУДАШ — Три стихотворения. Перевел с башкирского Александр Глезер	58
ЖАН-ПОЛЬ САРТР — Слова. Перевели с французского Ю. Яхнина и Л. Зонина	60
НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА — Новые стихи	109
ВАДИМ ХАЛУПОВИЧ — Сосна, Последнего тумана ключья..., стихи	111
Ю. КРЕЛИН — Семь дней в неделю (Записки хирурга)	113

ПУБЛИЦИСТИКА

Я. ТАВРОВ — На сибирских просторах	146
Л. БЕЗЫМЕНСКИЙ — Перевоплощения Мартина Бормана	161

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

Цецилия Кин — Вопросы анкеты и вопросы жизни	183
ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ АРХИВОВ	192

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО	207
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ВИНОГРАДОВ — Философский роман Лермонтова	210
В. КАВЕРИН — Юрий Тынянов (К 70-летию с дня рождения)	232

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	248
Л. Долгополов. На переломе лет.— В. Жданов. В поисках нового.— Ф. Светов. За кулисами цирка.— Л. Лившиц. Условие обязательное.— В. Гоффеншефер. Хорошее — только совершенствовать! — М. Злобина. Воспитание чувств.	
<i>Политика и наука</i>	264
Д. Щербаков. Десять лет, которые потрясли Волгу.— Ю. Капусто. Письма с войны.— И. Иноземцев. Идеи, поиски, решения...— В. Азерников. Информация из первых рук.	
КОРОТКО О КНИГАХ	273
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	283
ОТ РЕДАКЦИИ	285

В. КАВЕРИН

★

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

(К 70-летию со дня рождения)

1

Он был мягкий, уступчивый, подчас нерешительный человек. Но могучая воля исследователя, сурово и непреклонно стремящегося к цели, не оставляющего в стороне ни одного самого ничтожного факта, если он может служить делу, видна в его рукописях, написанных твердым, поражающим своей определенностью почерком. Многие в его архиве еще не разобрано, но когда удастся проследить главную мысль, десятки других, на первый взгляд незначительных, выстраиваются — и становится ясно, что весь этот беспримерный труд произведен для того, чтобы написать две или три строки романа.

«Дело идет о маленьком абиссинце, который попал в Россию, во Францию, снова в Россию, женился на пленной шведке, капитанской дочке, пошли дети, и четырнадцать абиссинских и шведских сыновей все стали русскими дворянами.

Так началось русское Ганнибальство, веселое, сердитое, желчное, с шутками, озорством, гневом, свирепостью, русскими крепостными хараемами, бранью, нежностью, любовью к пляскам, песням, женщинам...» (Рукопись).

Так в старой конторской книге Юрий Тынянов начал свой роман «Пушкин» — с главы о Ганнибалах, от которой — так же как и от многих других — он впоследствии отказался. Если перевернуть конторскую книгу и начать чтение с последней — а теперь опять с первой — страницы, вы встретитесь с автобиографическими рассказами Тынянова. Первый рассказ начинается так:

«Я родился в 1894 г. в городе Режице,

часах в 6 от мест рождения Михоэлса и Шагала и в 8 от места рождения и молодости Екатерины I. До войны город был Витебской губернии, теперь Латвийский. В городе одновременно жили: евреи, белорусы, великорусы, латыши, и существовало несколько веков и стран. В староверском скиту тек по желтым пескам ручей, звонили в било (отрезки рельсов; колокола были запрещены), справляли на бешеных конях свадьбы. Потом разводились, и тогда тоже мчались на конях, загоняли их. Там ходили высокие русские люди XVII века; старики носили длинные кафтаны, широкополые шляпы; бороды были острые, длинные, сосульками. Пьянства случались архаические и опять-таки кончались ездой. «Конь разнес» — это было еженедельное событие. Однажды хмельного старика конь нес до Двинска (203 версты).

Я помню на ярмарках, на латышских кермашах (старое немецкое слово: Kermesse) этих высоких людей и их жен в фиолетовых, зеленых, синих, красных, желтых бархатных шубках. Снег горел от шуб. Все женщины казались толстыми, головы не по телам малыши.

Они были верны в дружбе. Отец молодым врачом жил у старовера. Он посадил в саду яблоню. Каждый год, десятки лет, приносили нам яблоки с Тыняновки: «Кушай, Аркадьевич». Люди уходили из скита в город — печниками, малярами, плотниками. Случалось, печники возвращались миллионщиками. Звали всех этих высоких людей по-птичьему: Синица, Соловей, Воробей. Помню, напротив, сад печника с павлинами, которые грубо кричали...

Я застал еще в городе мистери. Сапож-

ники и хлебопеки надевали бумажные костюмы, колпаки, брали в руки фонарь, деревянные мечи и ходили вечерами по домам, представляя смерть Артаксеркса.

На свадьбах бывали бадханы, шуты. Они объедались и опивались; все смотрели на них, раскрыв рты; хохотали долго, валились под стол, хватали друг друга за руки, повторяя, объясняя, тыча пальцем в шуту. В городе было много сумасшедших; они бегали по улицам. Ими забавлялись, как было принято на востоке в XVIII веке. У каждого было свое лицо, свой характер, роль, неожиданности. Их любили, как шутов на свадьбе.

Окраины города звались Америкой, и жители их — американцами. Это была другая страна. Нищета превзошла там понятные пределы, и люди оттуда уезжали в Америку. Я помню воюющих, как по мертвым, женщин на дебаркадере вокзала, уходящий поезд и жандарма со строгим удовлетворенным лицом, притворяющегося, что не слышит. Оставшиеся жили в этой Америке; они жили более в Америке, чем где бы то ни было...

Там водились шарманщики. Они выходили в город на драку с мясниками; помню предводителя мясников — горбатого, толстого, с выпученными глазами, с острой борожкой, с раздутыми ноздрями нахала, с медленными, плавными движениями. Дрались они оглоблями. Дрались и одиночки — «посадские» (древний вид хулигана); помню, как спал в пыли однорукий приземистый человек — Мишка Посадский, его стриженую голову, тонкий песок. Посадские дрались камнями, так же как мастеровые; их возили в участок городовые; они сидели в ногах у городских все в крови, точно покрытые свежей краской или освежаемые; извозчики помахивали кнутиками, везли медленно; городовые не платили.

Лавочки проводили жизнь в тщеславии. Вместо вывесок на многих дверях висела еще красная тряпка («красный товар» или заячья шкурка («меха»)...» (Рукопись)).

Так Тынянов вглядывался в жизнь маленького городка, думая о книге, которую он писал медленно, возвращаясь к работе с перерывами в годы. Мир взрослых, его странная непоследовательность показаны в автобиографических рассказах со всей свежестью и остротой детского зрения. Время детей и время взрослых протекает с разной быстротой. Ни драки между мясниками и

шарманщиками, ни средневековые мистерии не удивляют взрослых, жизнь которых идет своим чередом.

В той же конторской книге удалось раздобыть заметки, относящиеся к отцу Юрия Тынянова, известному в городе врачу, которого — как я убедился, приехав нынешним летом в Резекне (бывшую Режицу), — до сих пор помнят и любят...

«...По вечерам, когда в столовой никого не было, а мать куда-нибудь уходила, он осматривал комнату косым, скучным взглядом, не замечая меня. Выдохнув, он запустил руку в карман и осторожно, как бы нехотя, но с любопытством разворачивал бумажки, раскладывал на столе меяки; больные заворачивали монеты в бумажки. В бумажках попадались пуговицы, даже соль. Он ждал этого. он медленно огорчался...»

«Он яростно читал газеты; больных он принимал, как промежутки между известиями.

— Ого,— говорил он,— шутка сказать: Япония... Войдите!

Он принимал больного, громко говоря с ним, как с глухим, повторяя самые простые слова, как маленькому, писал рецепт, отпускал больного и заканчивал:

— А Япония... становится великой державой! Шутка сказать!

Отдыхая, он покрывался газетой — от мух. Так с ней и не расставался.

Прошлогодние газеты клялись на стол в приемной.

Все радовались, когда приходил штабс-капитан. Штабс-капитан называл себя шнапс-капитаном, ему было лет восемьдесят, у него на шее болталась медалька за турецкую войну; у него были бакены, которые носили все военные и полицейские эпохи Александра II. Он усаживался в приемной, брался за газеты, пропускал все очереди. Потом в кабинете начинался громкий разговор:

— Как поживаете?— кричал отец.

— Не поживаю, а доживаю,— медленно и ясно говорил штабс-капитан.— Слышали? Англия? Сделала представление. Чрезвычайно любопытное убийство в Петербурге. Но полиция не найдет. Она на ложном следу. Арестована жена. При чем тут жена?

Отец возражал, соглашался, уступал. Штабс-капитан говорил:

— А во вчерашней газете пишут: открыт новый способ лечить холеру. Турция что-то шевелится...

Штабс-капитан терпеливо и медленно рассказывал отцу прошлогодние новости. Больные ждали. Жаловался он на старость и легню жару, и отец прописывал ему рецепт. Он наслаждался!» (Рукопись).

Работая, Тынянов как бы прислушивался к своему детству, которое шло за ним медленно, но неуклонно. Если бы не было этого детства (и этих набросков, случайно сохранившихся в архиве писателя, добрая половина которого погибла в годы ленинградской блокады), мы, вероятно, не прочли бы тех страниц в романе «Пушкин», где первое дыхание поэзии нелетает на маленького Александра, как ветер в Юсуповом саду в жаркое, полуденное время: «Стволы были покрыты мхом, как пеплом; хворост лежал вокруг статуй. И их глаза с поволокой, открытые рты, их ленивые положения нравились ему. Сомнительные, безотчетные, как во сне, слова приходили ему на ум. Сам того не зная, он долго бессмысленно улыбался и прикасался к белым грязным коленям. Они были безобразно холодные. Тогда, ленивый, угрюмый, он брел к пруду, к няньке Арине».

Не были бы написаны и те страницы, где маленький Пушкин бродит по дому неловко, бочком, замечая и понимая то, чего не понимают взрослые. Не было бы семейных вечеров, когда становилось ясно, что «у дома и у родителей были разные лица: одно — на людях, при гостях, другое — когда никого не было». Ни разговоров о политике, о войне, о государе. Ни внезапного восклицания одного из гостей: «А французы-то нас бьют да бьют!», напоминающего рассуждения «شناпс-капитана». Не было бы отрывистых и быстрых, без разбора, чтений — тайком, в отцовском кабинете. Словом, не было бы в нашей литературе детства Пушкина, написанного с бесценной подлинностью, потому что Тынянов знал, что «никогда писатель не выдумает ничего более прекрасного и сильного, чем правда» (Автобиография).

2

Я поступил в псковскую гимназию в том году, когда Юрий Тынянов кончил ее. Он был дружен с моим старшим братом и часто бывал в нашем доме. Отзвуки жизни старшего поколения доносились до меня то горячими спорами о Гамсуне и его лейтенанте Глане, то стихами Блока, то гимназическими любовными историями — и жизнь

брата и его друзей представлялась мне загадочной, сложной, необыкновенной.

Это впечатление романтической приподнятости нарушалось в моем тогдашнем представлении лишь одним членом «компании» — Юрием Тыняновым. Среди этих юношей, кончавших гимназию, много занимавшихся и успевавших одновременно влюбляться, проводить ночи в лодках на реке Великой, решать философские проблемы века, — он был и самым простым, и самым содержательно-сложным. Он был веселее всех. Он заразительно хохотал, передразнивая товарищей, подражая учителям — и вдруг уходил в себя, становился задумчив, сосредоточен.

Он писал стихи. Но главным делом, которому еще в гимназии Тынянов решил посвятить жизнь, была история русской литературы.

Глубокая, всепоглощающая любовь к нашей литературе была основной чертой всей жизни Тынянова. Лишь поняв и объяснив ее, можно понять и объяснить его жизнь. И наука его, которой он не переставал заниматься, уже будучи известным романистом, была, в сущности, не чем иным, как жадным стремлением изучить русскую литературу, открыть и объяснить чудо этой литературы.

Я мало встречался с ним в те годы, когда он был студентом Петербургского университета, и знаю об этом периоде главным образом по его же рассказам. Его учителями были замечательные ученые, оставившие глубокий след в истории русской литературы и русского языка. Он слушал одного из крупнейших лингвистов начала века Бодуэна де Куртенэ. Он был учеником гениального Шахматова, маленького человека с тихим голосом, поражавшего всех своей необычайной скромностью: выслушав Тынянова, который был тогда на первом курсе и хотел посоветоваться с Шахматовым по поводу своего реферата, он сказал: «Да, да. Я тоже все собираюсь заняться этим вопросом».

Впоследствии, когда многое было пересмотрено, когда оказалось, что время испровергло многих богов литературной науки, Шахматов по-прежнему оставался для Тынянова открывателем нового, ученым, умевшим соединять бесконечно далекие научные понятия и постигающим истину на путях их скрещений. Однажды Тынянов рассказывал мне, как в 1918 году пришел в

университет на лекцию Шахматова. В аудитории, кроме него, было еще два или три студента. Это не остановило профессора, и он начал свою лекцию, как всегда, в назначенный час. Он читал, не замечая времени; электричества не было, стало темнеть, и Тынянов, записывавший каждое слово, вынужден был писать все более и более крупными буквами. Наконец стемнело совсем, короткий зимний день кончился, но лекция продолжалась. Я видел среди бумаг Тынянова эту лекцию, записанную в полной темноте — огромными буквами, по два-три десятка слов на странице.

Да, Тынянов никогда не порывал с лучшими традициями русской науки, но бережно и с любовью отбирал из нее все, что могло помочь новому поколению филологов, среди которых он был, без сомнения, самым вооруженным бойцом. Он учился у известного С. А. Венгерова, о грандиозных затеях которого всегда отзывался с глубоким уважением, хотя и предвидел, что они не будут доведены до конца. Вот что он писал в набросках автобиографии, которую я нашел в его архиве: «Венгеров был старейший литератор, а не университетский профессор... Этот семинар скорее напоминал литературное общество, чем студенческие занятия. У Венгерова читали обо всем, и он всем интересовался. Руководитель с седой бородой вмешивался в споры, как юноша... Он научил нас работать над документами, рукописями. У него были снимки со всех пушкинских рукописей Румянцевского музея. Он давал их изучать каждому, кто хотел».

Работая в этом семинаре, Тынянов стал заниматься Кюхельбекером, о котором в то время знали только одно — что он был другом Пушкина и что лицейские друзья смеялись над его стихами. Страхов писал Толстому в 1878 году: «У него (Семевского. — В. К.) оказалось большое собрание ненапечатанных стихов и прозы Кюхельбекера и его дневник. Куча тетрадей произвела на меня самое привлекательное и грустное впечатление. Но я побоялся труда и времени, которые будет стоить чтение и обдумывание этих рукописей. А ведь Вы хвалили Кюхельбекера?»

Тынянов не побоялся труда и не пожалел времени. Он был первым человеком, который прочитал это собрание стихов и прозы Кюхельбекера и впоследствии опубликовал их.

«Кюхельбекер трогателен», — ответил Страхову Толстой. Именно эта «трогательность» Кюхельбекера, его человечность, его неловкое, неуклюжее, но алмазно-чистое стремление к справедливости привлекли внимание Юрия Тынянова к этой тогда полностью забытой фигуре. Он стал изучать Кюхельбекера и изучал его, в сущности, всю жизнь. Он написал о нем большую работу, главы которой читал на заседании пушкинского семинара. В 1918 году эта первая научная работа Тынянова вместе с его бумагами и библиотекой сгорела в Ярославле во время белогвардейского мятежа. Впоследствии он разыскал почти все написанное Кюхельбекером и издал собрание сочинений этого неровного, но интересного поэта. Он написал о нем роман, ставший любимым чтением для детей и взрослых, роман, который один, по мнению Горького, «гасит всю сухую бессильную болтовню не только одного Мережковского».

3

В 1919 году студент первого курса, служивший в студенческой столовке хлеборезом, поэт и частый посетитель московского «Кафе поэтов», я бродил по военной, заваленной снегом Москве с туманной головой и неопределенным, но страстным стремлением поразить человечество: чем — неизвестно, но непременно поразить, и как можно скорее! Тынянов, приехав из Петрограда в командировку, нашел меня и уговорил переехать к нему. Сам не знаю, почему мне пришлось по душе эта мысль. Может быть, потому, что город Пушкина, Петра, Медного Всадника, декабрьского восстания был одним из тех городов, которые стоило завоевать, тем более что в Москве мне не удалось добиться признания даже той маленькой поэтической группы, которая называлась, не помню — «Зеленое кольцо» или что-то в этом роде, и в которую входили самые разнообразные люди, в том числе даже будущий известный врач-гинеколог.

Тынянов стал работать переводчиком во французском отделе Коминтерна, едва только тот был создан. Об этом стоит упомянуть, потому что в то время, когда развертывалась гражданская война, когда почти ни одно учреждение не работало — всюду царил саботаж, — поступление на советскую службу, да еще в Коминтерн, было не случайностью, а поступком.

Мне кажется, что работа в Коминтерне дала ему очень многое. Десятки необыкновенных людей прошли перед его глазами. Он встречался с деятелями международного революционного движения, и я помню, с каким волнением рассказывал он мне о горячих боях, в которых участвовал Марсель Кашен и другие.

Его первая книга «Достоевский и Гоголь» вышла в 1921 году и была посвящена доказательству того, что в «Селе Степанчикове» Достоевский высмеивал, пародировал гоголевские «Выбранные места из переписки с друзьями». Уже в этой небольшой книге сказались характерные черты Тынянова как будущего писателя. Он не только увидел, но прочел Гоголя в главном герое «Села Степанчикова», а прочтя, нашел тысячи подтверждений своей необыкновенной догадки. Поучающая «высоконравственная», морализирующая фигура Фомы Опискина была поставлена рядом с Гоголем, и это неожиданное соседство оказалось приговором религиозному ханжеству «Выбранных мест из переписки с друзьями».

С интуицией художника Тынянов умел читать текст, нащупывая в нем внутреннюю, затаенную жизнь. Страницы, по которым равнодушно скользили глаза, открывались перед ним в новом, глубоком значении, становились вдруг ясными, живыми. Подчас не прибегая к свидетельствам современников, он умел находить в литературе картину борьбы направлений, той борьбы за «новое зрение», о которой он впоследствии написал в статье о Хлебникове: «Но есть литература на глубине, есть жестокая борьба за новое зрение, с бесплодными удачами, с нужными сознательными «ошибками», с востананиями решительными, с приговорами, сражениями и смертями. И смерти при этом деле бывают подлинные, не метафорические. Смерти людей и поколений».

Именно эта борьба за новое зрение была главной темой Тынянова в истории литературы. Ей посвящены его лучшие статьи — «Архаисты и Пушкин», «Пушкин и Тютчев» и многие другие.

Взгляните на эти статьи спокойным и беспристрастным взором — прошло много лет после того, как он расстался с последней из них — о Грибоедове, напечатанной уже после его смерти в «Литературном наследстве». Да, в некоторых есть склонность к терминологическим абстракциям. Но подавляющее большинство его научных работ

полны такой глубины, такого художественного восприятия литературы минувших лет! Я уже не говорю о том, какие драгоценные наблюдения сделаны в этих статьях, каждая из которых могла бы стать обширным исследованием неизученной области русской литературы. При этом у него никогда не было и тени педантства, ложной гордости, стремления показать «ученость».

Почему-то принято думать, что в Тынянове как бы соединились два человека — исследователь и художник, что в его литературной биографии «художество» спасало его от ложной науки. Это кажется мне глубоко неверным. Художник всегда был очень силен в исследовательских работах Тынянова, а романы его были бы невозможны без того глубокого разреза истории, который он производил умным ножом исследователя. Он не стал бы романистом, если бы не был знатоком истории литературы, мастером исторического изучения, умевшим составлять бесконечно далекие факты и делать из них выводы, неожиданно и блистательно опровергающие готовые представления.

Да, Тынянов был художником, когда, читая Пушкина или Катенина, он на основании едва заметного поэтического пунктира восстанавливал тайную, глубоко запрятанную литературную полемику, сложнейшую историю их отношений. Он умел разгадывать новое не так, как раскрывают шифр, а так, как изучают почерк — с психологической глубиной.

4

В 1923 году Тынянов — уже семейный человек — служил корректором в Госиздате. Он окончил Петроградский университет, был оставлен при кафедре русской литературы, что в те времена равнялось аспирантуре. Но о дальнейшей работе в университете нечего было и думать. В ту пору факультетом еще руководили почтенные, но весьма консервативные люди, для которых история русской литературы кончалась Жуковским и Пушкиным. Тынянова в свою дистиллированную, академическую среду они не пустили бы. Да и не пустили!

Именно тогда и произошла изменившая многое в его судьбе встреча с Корнеем Чуковским. В своих воспоминаниях Чуковский рассказал о том, как был задуман и написан «Кюхля», и я не стану повторять этой известной истории. Добавлю только,

что наряду с внешними обстоятельствами, заставившими Тынянова приняться за прозу, были и другие, внутренние. Вот что он писал об этом в своей не опубликованной при жизни автобиографии: «В 1925 году написал роман о Кюхельбекере. Переход от науки к литературе был вовсе не так прост. Многие ученые считали романы и вообще беллетристику халтурой. Моя беллетристика возникла, главным образом, из недовольства историей литературы, которая скользила по общим местам и неясно представляла людей, течения, развитие русской литературы. Такая «вселенская смазь», которую учили историки литературы, понижала произведения и старых писателей. Потребность познакомиться с ними поближе и понять глубже — вот чем была для меня беллетристика. Я и теперь думаю, что художественная литература отличается от истории не «выдумкой», а большим, более близким и кровным пониманием людей и событий, большим волнением о них. Никогда писатель не выдумает ничего более прекрасного и сильного, чем правда. «Выдумка» — случайность, которая не от сущности дела, а от художника. И вот, когда нет случайности, а есть необходимость, начинается роман. Но взгляд должен быть много глубже, догадка и решимость много больше, и тогда приходит последнее в искусстве — ощущение подлинной правды: так могло быть, так, может быть, было».

В «Кюхле» Тынянов впервые подошел к историческому документу как художник: «Есть документы парадные, и они врут как люди, — писал он впоследствии. — У меня нет никакого пиетета к «документу вообще». Человек сослан за вольнодумство на Кавказ и продолжает числиться в Нижнем Новгороде, в Тенгинском полку. Не верьте, дойдите до границы документа, продырявьте его. И не полагайтесь на историков, обрабатывающих материал, пересказывающих его...»

Но самое совершенное знание материала, как известно, не создает еще художественного произведения. В «Кюхле» был создан характер. Писатель и революционер, «пропавший без вести, уничтоженный, осмеянный понаслышке», как писал Тынянов о Кюхельбекере в предисловии к собранию его сочинений, ожил перед нами во всей правде чувств, со всей трогательной чистотой своих надежд и стремлений. «Кюхля» — это роман-биография, но, идя по следам

главного героя, мы как бы входим в портретную галерею самых дорогих нашему сердцу людей — Пушкина, Грибоедова, Дельвига, и каждый портрет — а их очень много — нарисован свободно, тонко и смело. Везде чувствуется взгляд самого Кюхельбекера. Подчас кажется, что он сам рассказывает о себе, и чем скромнее звучит этот голос, тем отчетливее вырисовывается перед нами трагедия декабристов. Быть может, именно в этой скромности, незаметности и заключается сила характера, нарисованного Тыняновым.

В 1957 году роман вышел во Франции. «Вы откроете для себя не только Вильгельма и декабристов, но и великого писателя, — пишет Пьер Дэкс. — ...В нашу душу переходят боль, гнев, жгучее убеждение, что Кюхля завещал нам силу и волю, которые он потерял. Мы выходим из романа, пожиряемые этой беспримерной страстью».

На последних страницах романа Кюхельбекер показывает жене на сундук с рукописями: «Поезжай в Петербург... это изддут... там помогут... детей определить надо». Этот сундук с рукописями впоследствии действительно попал в Петербург и долго находился в распоряжении одного из сыновей Кюхельбекера. Не знаю, какими путями, но в 1928—1929 годах к рукописям получил доступ некий антиквар, который, узнав, что Тынянов собирает все написанное Кюхельбекером, стал приносить ему эти бумаги, разумеется, по градации: от менее к более интересным. Тынянов тратил на них почти все, что у него было, и постепенно «сундук» перешел к нему.

Я помню, как в письме Туманского к Кюхельбекеру он нашел несколько слов, написанных рукою Пушкина. Это было торжество из торжеств!

5

В «Кюхле» Грибоедов нарисован бегло. Но и этот беглый портрет останавливает внимание своим несходством с готовым, сложившимся еще в школьные годы представлением об авторе «Горя от ума». Откуда взялось это представление? Произошло ли оно от скучных предисловий к академическим изданиям «Горя от ума», авторы которых откровенно признавались, что «трудно восстановить духовный облик Грибоедова» (Н. К. Пиксанов), или от понятия «классик», которое всегда было как

бы броней непогрешимости, скрывавшей от нас подлинную жизнь? Кто знает? Впоследствии в цитированной выше автобиографии Тынянов писал: «Я стал изучать Грибоедова — и испугался, как его не понимают и как не похоже все, что написано Грибоедовым, на все, что написано о нем историками литературы».

В свое время некоторые критики объявили «Смерть Вазир-Мухтара» мрачной, пессимистической книгой, хотя книга о трудной жизни и страшной смерти Грибоедова едва ли могла быть особенно веселой. Отдавая должное таланту Тынянова, они упрекали его в нарочитой усложненности образа Грибоедова, в субъективистском истолковании истории. На деле же не Тынянов усложнил историю, «а его критики пытались ее упростить», — справедливо замечает по этому поводу в своей вступительной статье к сочинениям Юрия Тынянова Б. Костелянец.

Известная мысль Ленина о трех поколениях, действовавших в русской революции, под рукой Тынянова впервые нашла художественное воплощение. В этом смысле «Смерть Вазир-Мухтара» дополняет и объясняет социальную картину декабрьского движения, нарисованную в «Кюхле». Что касается оценки психологической, в которой главную роль играет авторское чувство, определяющее позицию Тынянова-историка, то оно в полной мере выражено в предисловии к «Смерти Вазир-Мухтара», где проведена беспощадная грань между людьми двадцатых и тридцатых годов. «Людам двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их... Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь! Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут».

Это — о страшной жизни Грибоедова, того Грибоедова, который не верит в удачу декабрьского движения и который падает в обморок от ненависти при виде Майбороды, предавшего декабристов.

Было бы, конечно, странно, если бы Тынянов поставил перед собою задачу доказать, что трагедия 14 декабря внушила русскому обществу надежду на лучшее будущее и вообще носила оптимистический характер. В таком случае роман «Смерть Вазир-Мухтара» был бы свидетельством

еще одной ложной концепции, от которых историки в наши дни не знают, как и освободиться.

В «Смерти Вазир-Мухтара» перед нами друг декабристов, отравленный горечью их неудач. Перед нами не хрестоматийный классик, заслуживший вечную благодарность потомства, но автор запрещенной комедии, не увидевший ни печати, ни сцены. Перед нами Грибоедов, у которого «в словесности большой неуспех», Грибоедов, разговаривающий со своею совестью, как с человеком. О «Горе от ума» в романе говорится мало, и вместе с тем весь роман — это как бы огромный психологический комментарий к гениальной комедии. Все ясно — и причина, по которой она, в сущности, осталась единственным произведением Грибоедова, и тот кажущийся парадоксальным факт, что автор этой комедии, распространявшейся декабристами в целях политической пропаганды, стал полномочным министром — «Вазир-Мухтаром».

С пронизательностью тонкого дипломата в романе вскрыты интриги английской миссии, направленные против русского влияния в Персии. Кажется очевидным, что эта сторона романа основана на особенно тщательном изучении исторических документов — стоит только представить себе, какую политическую ответственность брал на себя Тынянов, рисуя деятельность британских резидентов при шахском дворе в Тегеране. Между тем лишь недавно, уже в наши дни, с выходом в свет книги С. В. Шостаковича «Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова» (М. 1960) стало ясно, насколько точна была художественная интуиция Тынянова. «Весною 1828 года, во время пребывания Грибоедова в Петербурге, там «случайно» оказался один из активных противников русского влияния на Среднем Востоке капитан Кемпбелл, секретарь британской миссии в Тавризе». Тынянов, без сомнения, знал об этом. Но он не знал, что «при встрече с Грибоедовым в Петербурге Кемпбелл бросил русскому посланнику весьма недвусмысленное предупреждение: «Берегитесь! Вам не простят Туркманчайского мира!»

«Там, где кончается документ, там я начинаю... — писал Тынянов. — Я чувствую угрызения совести, когда обнаруживаю, что недостаточно далеко зашел за документ или не дошел до него, за его неимением».

Именно так, с изумительной интуицией был угадан Грибоедов-дипломат — фигура, историческое значение которой лишь теперь в полной мере доказано исследованием С. В. Шостаковича.

«И полковник Макдональд проводит вечера напролет, запершись наглухо в кабинете с доктором Макнилем, который спокоен, как всегда» («Смерть Вазир-Мухтара»). Теперь мы знаем, о чем они говорили.

«И, как всегда, доктор Макниль остался в комнате, когда увели маленьких принцев и ушла мать. Вошли, осторожно ступая, три евнуха, как три шахских мысли: Манучехр-Хан... Хосров-Хан... и Мирза-Якуб... Они сидели неподвижно на коврах и разговаривали. Потом доктор Макниль пошел на второй визит к Алаяр-Хану... к Зилли-Султану, сыну шахову, губернатору тегеранскому.

Вот и все, что известно об этих визитах доктора Макниля» («Смерть Вазир-Мухтара»).

Теперь о них известно гораздо больше. Вот что сказано в книге С. В. Шостаковича: «Многотысячная толпа, в полном смысле слова потерявшая всякий человеческий облик, омывшая руки в крови защитников миссии, штурмом берет дворы британского посольства, убивает русских (находившихся там.— В. К.), грабит русское имущество в британской миссии и одновременно бережно относится к имуществу, составлявшему британскую собственность... Мыслимо ли вообще представить, чтобы сами обезумевшие фанатики во время резни русских четко отличали бы «дружественное» — британское от «вражеского» — русского, если бы не было среди них подстрекателей и вожаков, надлежащим образом наставленных организаторами разгрома русской миссии. Недаром Макниль писал своей жене в феврале 1829 года: «Я не сомневаюсь, что был бы в Тегеране в такой же безопасности, как и везде».

Мне хочется привести обратный случай в работе Тынянова — когда не отсутствие, а наличие достоверных по видимости документов искажало историческую картину. Работая над «Смертью Вазир-Мухтара», он был поражен историей Самсон-Хана. История эта была разработана известным археологом А. П. Берже, автором многочисленных авторитетных трудов по истории Кавказа. Тынянову показалось странным, что

Самсон-Хан, солдат-дезертир русской армии, в работах Берже показан как дворянин, случайно поступивший на службу к иностранному правительству: во время русско-персидской войны он будто бы отказался от участия в войне и уехал из Тавриза. По Берже получалось, что русский батальон дезертиров не выступил против русской армии. «Я решительно ничего не мог сделать с этой конфетной историей, — рассказывал Тынянов в статье для сборника «Как мы пишем». — И не пробовал. У меня не было под рукой никаких документов, опровергающих Берже, и все-таки я не мог писать вместе с Берже. Мне почему-то представлялся все время какой-то попечитель учебного округа эпохи Александра III, где-то, в какой-то гимназии уверяющий гимназистов, что «даже закоренелые преступники, и те, почувствовав раскаяние...» Бахадеран в ханском халате, убивший свою жену, как-то хмурился и не соглашался на свои горячие, национальные чувства. Начальник гвардии не может отказаться от военных действий. И как персы позволили бы этому своему генералу пить кофе и шербет, когда их били? Разве из недоверия? Но батальон дезертиров, эти дезертиры, многожды битые и прогнанные сквозь строй — и ненавидящие строй, который их обидел, так-таки «не пожелали», «отказались» и т. д.? Нет. И сознательно, не имея документов, опровергающих Берже, я написал об участии Самсона и его солдат в битвах с русскими войсками и не чувствовал угрызений совести. А потом, уже после того как напечатал это, роясь в каких-то второстепенных материалах, наткнулся на краткую записку генерала (кажется, Красовского), в которой тот требовал подмоги, потому что на левом фланге насаждают на него русские изменники. А насчет того, что Самсон уезжал из Тавриза во время войны, этот факт подтвердился. Но уехал он из Тавриза — в с т а в к у персидского главнокомандующего Аббаса Мирзы».

Как свободно, хочется отметить, пишет Тынянов о своей работе! С каким изяществом! Можно подумать, что она не стоила ему такого уж большого труда. Но в глазах становится темно, когда вы открываете любую его рукопись с бесчисленными зачеркнутыми, восстановленными и вновь зачеркнутыми вариантами, проверенную беспощадностью историка и великой любовью к русской литературе.

6

Принимаясь за эту статью, я не представлял себе, как трудно мне будет писать о Тынянове. Это прежде всего объясняется тем, что мы были очень близки, и, вспоминая о нем, пытаюсь вновь оценить то, что он сделал, я невольно теряюсь, пытаюсь отделить важное от второстепенного, окруженный теми подробностями, которые в целом составляют жизнь, но которые интересны и важны только для меня одного.

Как рассказать, например, о том, что это был человек необыкновенного душевного веселья, которое сказывалось решительно во всем — и прежде всего в тонком остроумии, оставившем свой след только в семейных альбомах да еще в знаменитой «Чукоккале».

На каждую годовщину литературной группы «Серрапионовы братья» он неизменно являлся с шутивным стихотворением в «одическом», высокопарном стиле. Одно из них, относящееся ко второй годовщине 1 февраля 1923 года, начиналось так:

Се красные собрались лики
Средь яств и брашен и убранств.
Зачем сей сонм? Сей вопль великий?
И клики радостных пианств?

Конечно, се Серрапионы
Идут неверною стопой
Почтить торжественно в день оный
Младый, двухлетний возраст свой...

И кончалось:

Итак, bibendum, или пей,
Иль просто пей, пока ты пьющий.
А Гофман в гробе мирно спи,
И жизнью пользуйся живущий.

Шуточные стихи, пародии, меткие, запомнившиеся эпиграммы легко «вписываются» в тыняновский облик, потому что это был человек, дороживший ощущением легкости, живого общения, беспечности, свободы, обладавший редким даром перевоплощения, смешивший друзей и сам смеявшийся до колик, до упаду. Как живого видел вы перед собой любого из общих знакомых, любого из его героев. Ему ничего не стоило мгновенно превращаться из длинного, растерянного, прямодушного Кюхельбекера в толстенького, ежеминутно пугающегося Булгарина. Он превосходно копировал подписи. В архиве сохранился лист, на котором рядом с роскошной и все-таки канцелярской подписью Александра

Первого написано некрупно, быстро, талантливо, добродушно: «Поезжайте в Сухум. Антон Чехов».

Отмечая годовщину со дня смерти Льва Лунца, он написал ему письмо о друзьях, о литературе: «...Вы, с вашим умением понимать и людей и книги, знали, что литературная культура весела и легка, что она не «традиция», не приличие, а понимание и умение делать вещи нужные и веселые. Это потому, что Вы были настоящий литератор, много знали, мой дорогой, мой легкий друг, и в первую очередь знали, что «классики» — это книги в переплетах и в книжном шкафу и что они не всегда были классиками, а книжный шкаф существовал раньше них. Вы знали секрет, как ломать книжные шкафы и срывать переплеты. Это было веселое дело, и каждый раз культура оказывалась менее «культурной», чем любой самоучка, менее традиционной и, главное, гораздо более веселой...»

Если бы я был историком литературы, я бы непременно занялся отношениями между Тыняновым и Маяковским, который лучше, чем кто бы то ни было, умел «срывать переплеты и ломать книжные шкафы». Маяковский, встретившись с ним после выхода «Кюхли», сказал: «Ну, Тынянов, поговорим, как держава с державой». Тынянов писал о Маяковском как о великом поэте, возобновившем грандиозный образ, утерянный со времен Державина, чувствующем «подземные толчки истории, потому что и сам когда-то был таким толчком». Это ничуть не мешало ему шутить над «производственной атмосферой» Лефа. В его бумагах сохранился «Сон» — острый и одновременно добродушный шарж на редакционные совещания в Лефе.

«Мне снился сон, что я сотрудник Лефа и что Владимир Владимирович Маяковский спросил меня басом:

— Это вы — Тынянов, который, кажется, пишет исторические романы?

— Я... — ответил я трусовато.

— Что же вы — маленький или, может, вы позабыли, что мы в 1924 году с Чужаком обнародовали, что этого не должно быть? — спросил несколько сурово Владимир Владимирович.

— Я позабыл. — ответил я как можно простодушнее, все еще желая, чтоб меня похвалили.

Я действительно как-то позабыл о Чужаке.

— Загоскин, Мордовцев и Толстой тоже писали исторические романы,— сказал Владимир Владимирович, жуя папиросу.— Ничего нового. Садитесь, пейте чай.

Я сел на стул, но Владимир Владимирович легонько меня одернул:

— Не сюда. Это Брик.

Клянусь, никога на стуле не было.

«Ах, так вот он Брик, вот как он выглядит»,— подумал я, ошарашенный. Вот тебе и стул.

— Товарищи,— сказал Владимир Владимирович,— я долго вас слушал. Теперь мое слово. Никакой литературы. Согласны?

— Согласны,— сказала стриженная, как мальчик, барышня.

— Идите в газету.

Я почувствовал беспокойство. В какую? Я написал десять листов. Молчать нужно.

— В какую,— пискнул я,— ийти?

— Да не в какую, а вообще — газета,— сказала мне терпеливо барышня, похожая на мальчика.

— Тынянов, вы печатались в газете? — спросил меня Виталий Жемчужный.

— Иногда. Статьи. Объявления,— сказал я беззвучно.

— Объявления — это же в Моссельпром,— сказал мне Виталий Жемчужный.— Вы совсем начинающий. Молодняк.

Он слегка потрепал меня по плечу.

Вдруг один еще совсем молодой мальчик, к удивлению моему, возразил:

— Мы уже были. Не пускают. Говорят: не нужно.

— Как это не нужно? — сказал Виталий Жемчужный.— Это же социальный заказ.

— Они говорят, что мы не умеем.

Все засмеялись. Я тоже хохотнул не без сарказма (может, простят роман?).

— Тогда пишите путешествия, как Витя,— сказал Владимир Владимирович.

— Но ведь, кажется, Карамзин уже...— вдруг пискнул я. Это у меня сорвалось. Барышня на меня посмотрела так, что я заерзал на стуле...

Но мальчик опять смело возразил:

— А если мне билета не на что купить?

Это был молодняк. Я посмотрел на него во все глаза и приободрился.

— Да, как с билетом? — спросил я смело.

— Кирсанов,— сказал ему Владимир Владимирович,— сиди у себя на Варварке и опишывай ее. У тебя получится Париж. Родченко же описал.

— Товарищи,— сказала барышня,— полу-

чен социальный заказ из типографии: править корректуры прозой.

— Я вам слова не предоставил,— сказал Владимир Владимирович.— Пейте чай, если вы сотрудник. Когда в 1926 году мы вели борьбу с Полонским, мы решили: дисциплина на заседаниях. Пейте чай. Я сейчас буду читать новые стихи.

— Но ведь, кажется, Пушкин уже писал стихи? — пролепетал я, думая о том, что все-таки мое дело пропало. Да и молодняком быть не так сладко.

— Если бы жил Пушкин, мы бы его пригласили сотрудником в Леф,— сурово ответил мне мой друг, Виктор Шкловский.

Я сразу почувствовал, что Пушкина пригласил не к месту.

— То-ва-ри-щи,— покрыл нас басом Владимир Владимирович.— Я читаю стихи. Сначала идут условия, потом официальный отдел. О найме квартир прочтет Николай Николаевич. Это сначала, а потом...

Я сидел, слушал новые стихи Владимира Владимировича и думал, что было бы с Пушкиным, если бы старик вдруг отказался от сотрудничества в Лефе? Николай Асеев написал бы тогда «Путеводитель по Пушкину». Пушкин бы запил. Брошу я к чертовой матери романы! И я сильно захлопал, потому что Владимир Владимирович кончил официальный отдел. Потом Владимир Владимирович прочитал о Пушкине, потом о Лермонтове. Это были стихи.

Тут я испугался и задом — в переднюю.

По дороге задел этажерку и извинился. Может быть, Брик?»

Веселый, добрый, вежливый человек, любивший шутки и эпиграммы, Юрий Тынянов прожил незаслуженно-мучительную жизнь. Он рано и тяжело заболел — это было неудачей личной, несчастьем, касавшимся его и его близких. Но были другие, общие несчастья. Придя к нему однажды осенью 1937 года, я нашел его неузнаваемо изменившимся, похудевшим, бледным, сидящим в кресле с бессильно брошенными руками. Он не спал ночь, перебирая свои бумаги, пытаясь найти письмо Горького, глубоко значительное, посвященное судьбам русской литературы,— еще недавно мы вместе перечитывали его. Теперь его мучила мысль, что он сжег его нечаянно вместе с другими бумагами, в которых, разумеется, не было ничего преступного,— как это делали многие, почти все, не зная, что может случиться в ближайшую ночь. Я кинулся доказыва-

вать, что письмо найдется, что он не мог его сжечь.

— Нет, мог,— сказал он с отчаянием.— Я не знаю, не вижу, что делаю. У меня голова помутилась.

И он заговорил о невозвратимой гибели архивов, свидетельств истории, собиравшихся десятилетиями,— бесценных коллекций, в которых отразилась вся частная жизнь России.

— Не только люди, память гибнет,— сказал он.

Ни прежде, ни потом, в самые трудные годы, я не видел его в таком отчаянии. Всегда он держался спокойно, с достоинством писателя, не забывающего, что он работает в великой литературе.

Письмо так и не нашлось.

7

Подчас казалось странным, откуда взялось такое тонкое постижение человеческой души во всех ее малейших изгибах у человека, жившего, в сущности говоря, комнатной жизнью? Болезнь рано ограничила возможности его поездок, да и самые поездки были связаны с попытками устоять против тяжелой болезни, которая терзала его много лет и свела наконец в могилу.

Но контраст между малым жизненным опытом и психологической глубиной его книг только видимый, кажущийся. Это был человек, который умел из наблюдений, подчас совершенно ничтожных, делать неожиданные, далекие выводы. Тифлис в «Смерти Вазир-Мухтара» написан по историческим материалам, но когда Тынянов приехал в Тифлис в 1938 году, перед его глазами открылся тот город, который он выстроил в своем воображении. Как известно, Кювье восстанавливал скелет доисторического животного по одной его кости. Так для Тынянова достаточно было одной подробности, чтобы восстановить весь строй — исторический, этнографический, лексический, к которому она относилась.

Меня поражало то богатство ассоциаций, то сопоставление бесконечно далеких подробностей, явлений, идей, которое было характерным для его таланта и которое помогало ему, не выходя из кабинета, широко и смело рисовать картины жизни петровского времени, двадцатых и тридцатых годов прошлого века, жизнь Пушкина, пятидесятых годов.

И еще одна черта, равно характерная для него как писателя и человека: он умел слышать тот шум времени, который доступен лишь деятелю, ясно представляющему себе движение истории, ход и столкновение исторических величин.

Не следует думать, что Тынянов был погружен в исторические изучения и лишь там находил источники своего вдохновения. Сила его как раз и заключалась в том, что это был человек глубоко современный, превосходно понимавший мировое значение новой полосы в истории России. Нет никаких сомнений в том, что произведения его не могли быть созданы в другое время. Исторические судьбы страны волновали его всю жизнь, и это волнение пронизывает его книги, написанные о далеких временах и тем не менее глубоко современных. «Ощущение нашей страны как страны великой, сохраняющей старые ценности и создающей новые,— главный двигатель работы и историка литературы и исторического романиста»,— писал Тынянов.

Мне еще не удалось установить, было ли опубликовано интервью Тынянова о своей работе, относящееся, по-видимому, к 1938 году. Вот что говорил он о необходимости борьбы литературы с фашизмом: «Фашизм должен быть разоблачен с начала до конца, во всех его проявлениях и теориях. В частности, писатель, работающий на историческом материале, должен разоблачить пышную, но лживую генеалогию фашизма, которую он, как истый выскочка, затыкает дыры своего мешанского происхождения. Их предки не Воган и не варвары, не Цезарь и не Помпей, а убогие погромщики и позором покрытые колоннальные авантюристы XIX века.

Не древнего происхождения сжигание книг на костре: это проделал в 1817 году старонемецкий дурень Ян в Вартбурге; даже книжки остались, в сущности, те же: он жег книги друга Гейне, Иммермана, теперь жгут самого Гейне.

Ветеринарные домыслы, полицейская философия и фантастическая генеалогия должны оправдать разбой неслыханного размера.

Долг писателей — разрушить до основания это убогое сооружение. Писатели должны быть готовы сменить оружие пера на оружие в буквальном смысле.

Среди западных писателей есть некоторые, напоминающие салтыковский персонаж Дю-Шарно, который «начал объяснять пра-

ва человека и кончил объяснением прав Бурбонов». Борьба должна вестись и против этих пособников фашизма, будь то пособники по слабости, или по отсутствию воли, или из жадности самосохранения».

Сила исторической прозы в том, что она нужна своему времени, связана с ним и является его отражением. Почему в годы Великой Отечественной войны вся страна кинулась читать «Войну и мир»? Потому что в этой книге написано не только о том, как мы победили, но кто — мы, и почему мы снова непременно должны победить. Так, читая романы Тынянова, мы — русские середины XX века — видим себя со всеми нашими радостями и печальями, надеждами и размахом.

8

Кто не знает рассказа «Подпоручик Киж», обошедшего весь мир, переведенного на множество языков, рассказа о том, как ошибка писаря, нечаянно написавшего вместо «подпоручики же» — «подпоручик Киж», — послужила поводом для создания мнимого человека? В машине павловского государства с ее канонизированными законами существования достаточно описки, чтобы из нее вышла андерсеновская тень, которая растет, делает карьеру, занимает все большее место в сознании и наконец распоряжается судьбами беспрекословно-послушных мертвому ритуалу людей.

Параллельно Тынянов рассказал историю поручика Синухаева, который благодаря другой, прямо противоположной, ошибке выбыл из числа живых и был записан мертвым. Нигде не перекрещиваясь, не переплетаясь, две истории ведут читателя в самую глубину той мысли, что для мертвой правильности канцелярского мышления не нужен и даже опасен живой человек.

Этот рассказ, написанный с лаконичностью латинской прозы, в тридцатых годах был единодушно признан одним из значительнейших явлений в нашей литературе.

Подпоручик Киж стал именем нарицательным, стал символом холодного, равнодушно-казенного отношения к жизни. Это имя и до сих пор можно встретить в сатирической заметке, в публицистической статье, направленной против бюрократизма. Но значение рассказа глубже. В упоминавшемся наброске автобиографии Тынянов писал: «После романа о Грибоедове я написал несколько рассказов. Для меня это были в

собственном смысле рассказы; есть вещи, которые именно рассказываешь как нечто занимательное, иногда смешное. Я работал тогда в кино, а там так начинался каждый фильм и так находились детали». Это замечание относится, мне кажется, к рассказу «Малолетний Витушишников». Как и в «Подпоручике Киж», Тынянов из множества больших и малых событий, составляющих жизнь огромной страны, выбирает самое малое: на этот раз «государственное потрясение» в России Николая Первого возникает и молниеносно развивается по той причине, что фрейлина Нелидова «отлучила императора от ложа». Но и это незаметное, ничтожное, замкнутое событие оказывается тесно связанным с другими, все более крупными, доходящими наконец до «исторической катастрофы». Так, стройно работающий «электромагнетический аппарат» николаевской эпохи открывается во всей своей мнимой значительности и ложном величии.

Исторические рассказы Юрия Тынянова проникнуты иронией — по видимости добродушной, а на деле язвительной и горькой. Я бы сказал — быть может, это покажется странным, — что в них есть нечто чаплинское — то соединение гротеска и трагедии, обыденного и невероятного, смешного и печального, та бессмысленность, против которой не только трудно, но опасно бороться.

9

Повесть «Восковая персона» стоит несколько в стороне от других произведений Тынянова, хотя несколько не уступает им ни в конкретности исторического воображения, ни в силе, с которой нарисованы деятели петровского государства. Она порою трудна для чтения; она написана как бы от имени человека петровского времени, когда в русский язык ворвалось множество иностранных слов подчас в неожиданных и причудливых сочетаниях. Это были слова, еще как бы неловко и неуверенно чувствовавшие себя в чужом языке и вместе с тем необычайно резко окрашивавшие разговорную речь того времени. Нужно было глубоко проникнуть в лексику петровской эпохи, чтобы воспроизвести ее на страницах «Восковой персоны».

Но стилистическая новизна и острота этой повести заключается не только в том, что в ней воспроизведен язык петровской эпохи. Эти языковые средства помогли Тынянову

создать характеры, поразительные по своей точности и простоте. Таков Меншиков с его потерей представления о том, что его окружает, с его страхом перед огромностью того, что находится под его неограниченной властью, с его любовью к «даче», то есть к взятке, которая мила ему именно своей конкретностью, определенностью, отсутимостью. Такова Екатерина, так и оставшаяся деревенской девкой, погруженная в мир поразительно ничтожных интересов. Таков наконец сам Петр, умирающий, распростертый в одиночестве на своем холодном ложе, вокруг которого с каждым часом образуется пустота, простирающаяся далеко, граничащая с крушением всего, что он сделал, доходящая до тех пределов, которые он некогда завоевал с «великим тщанием и радением».

Нельзя не согласиться с Б. Костелянцем, который считает, что в этой повести Тынянов «отвергает идею, будто народ живет вне истории». С более глубокой позиции, завоеванной советской литературой в ходе своего развития, он видит взаимосвязь между тем, что творится на «авансцене» истории и на ее «задворках». На «авансцене» истории идет «неслыханный скандал», идет «ручная и ножная драка» между Меншиковым и Ягужинским, первыми людьми государства. А на «задворках» в народных низах рождаются силы, которые стремятся уйти и уходят из-под власти феодально-бюрократической государственности.

«Восковая персона» проникнута ужасом перед тем полным уничтожением человеческого достоинства, которое заставляло брата доносить на брата, которое в самом предательстве находило счастье, восторг, самоупоение. В повести рассказана история двух братьев — Якова, одного из «монстров и натуралий» петровской кунсткамеры, и Михаила, «солдата Балка полка», каждая мысль которого определена сознанием того, что он — не кто иной, как солдат этого давным-давно не существующего «Балка полка».

Выше я упомянул о «современности» Тынянова, о том, что его исторические произведения важны для понимания того, что происходило в мировой истории XX века. Ограбленный, отданный под власть политических дельцов, интригующих друг против друга, Иран недавнего прошлого встает со страниц «Смерти Вазир-Мухтара» Но самой «современной» книгой Тынянова — и не

только современной, но предсказавшей некоторые явления недавнего прошлого, — была, без сомнения, «Восковая персона».

Вспомним сцену, где умирающий Петр остается наедине с генералом-фискалом Мякинниным, который, всю ночь составляя списки, сидит в каморке рядом со спальней, а наутро спрашивает Петра (шепотом, на ухо): «А как скажешь, сечь ли мне один только сучья?» Лишь на второй вопрос: «А и скажешь ли — наложить топор на весь корень?», он получает ответ: «Тогда глаза раскрылись и тонкий голос, с трещиной, сказал Алексею Мякиннину:

— Тли дотла».

И Мякиннин отсчитывает головы на счетах: «А девяносто две кости были — девяносто две головы».

Солдат «Балка полка» доносит на мать, обоих пытаются, потом опускают изуродованных, и «они пришли, каждый своей дорогой, к своему повосту, и у повоста встретились и, не глядя друг на друга, пошли к дому». Подозрительность как основа отношений, борьба за власть, слепота, бессмыслица террора — вот что встает перед нашими глазами.

Повесть называется «Восковая персона» потому, что после смерти Петра художник Растрелли создает его восковое подобие. Фигура встает, когда к ней приближаются, и поднимает руку. И одним кажется, что покойный император приветствует их, а другим, что он гневно указывает на дверь. Фетиш создается, чтобы продолжал действовать страх, который был сильнейшим оружием петровского государства. Восковой император встает над разрушающимся хаосом его великих дел до тех пор, пока и его не ссылают в кунсткамеру, к другим «монстрам и раритетам».

10

Эта статья представляет собою лишь попытку дать литературный портрет Юрия Тынянова. Я ничего не написал, например, о том, что он сделал в кино. Между тем его перу принадлежат несколько первоклассных сценариев: «Шинель» — по Гоголю, «Ася» — по повести Тургенева, оставивших заметный след в истории нашей кинематографии. Он работал с Козинцевым и Траубергом, с Герасимовым и Ивановским, и эти известные режиссеры с любовью вспоминают

недолгие, но плодотворные годы общения с ним.

Я ничего не написал о переводах Гейне, которыми Тынянов исподволь занимался всю жизнь. Он перевел «Германию», «Невольничий корабль», многие лирические и сатирические стихи; ни одно собрание Гейне не обходится теперь без этих первоклассных переводов.

Неоднократно печаталось письмо Горького к Тынянову в связи с выходом «Смерти Вазир-Мухтара». Не знаю, можно ли выразить с большей силой признание таланта исторического романиста, чем это сделал Горький, оценивая портрет Грибоедова: «Должно быть, он таков и был. А если и не был — теперь будет». Эти слова определяют, в сущности, основную задачу самого жанра исторической прозы.

Я был у Горького вместе с Тыняновым, кажется, в 1931 году. Шел разговор о создании «Библиотеки поэта», а в сущности — о генеральном пересмотре всей русской поэзии. Можно смело назвать Тынянова рядом с Горьким в этом огромном, еще продолжающемся деле. Но они говорили и о другом. Горький знал, что в двадцатых годах Тынянов работал в кинематографии, и угваривал его вернуться к этому делу.

11

Начиная «Пушкина», Тынянов думал, что этой книгой будет закончена трилогия — Кюхельбекер, Грибоедов, Пушкин. К новой книге он приступал издавека, настороженно, неторопливо. Но не огромность задачи смущала его. Он в полной мере сознавал всю ответственность, ложившуюся на плечи писателя, который осмеливается создать роман, охватывающий всю жизнь Пушкина, — роман, в то время как у нас еще и до сих пор нет историко-литературной монографии, решившей эту задачу.

«Эта книга — не биография, — писал Тынянов в черновике предисловия, сохранившегося в его архиве. — Читатель напрасно стал бы искать в ней точной передачи фактов, точной хронологии, пересказа научной литературы. Это — не дело романиста, а обязанность пушкиноведов. Отгадка часто заменяет в романе хронику происшествий — с той свободой, которую издавна, по старинному праву пользуются романисты. Научная биография этим романом не подменяется и не отменяется. Я бы хотел в этой книге при-

близиться к художественной правде о прошлом, которая всегда является целью исторического романиста».

В интервью, которое я цитировал выше, задача определена еще точнее: «Свой роман я задумал не как «романизованную биографию» (biographie romanesque), а как эпос о рождении, развитии, гибели национального поэта. Я не отделяю в романе жизни героя от его творчества и не отделяю его творчества от истории его страны».

В первых вариантах роман начинался с Абиссинии, с предков Пушкина, с петровского арапчонка. Тынянову показалось, что эти главы не удалась, и работа была отложена надолго. Он вернулся к своему замыслу лишь через год, решив идти вслед за пушкинским планом автобиографии, который относится к 1830 году и публикуется обычно под названием «Программы записок». Эта «Программа» вся помещается на одном листочке и представляет собой настолько краткий перечень событий жизни Пушкина, что некоторые параграфы оставались для исследователей загадкой. «Программа», как известно, доведена лишь до 1815 года.

Нужно было любить и понимать Пушкина, как любил и понимал его Тынянов, чтобы расшифровать эти загадки, эти начатые и брошенные фразы, эти фамилии, которые можно прочесть так или иначе. «Мои неприятные воспоминания», — пишет Пушкин. Какие воспоминания? О чем? «Нестерпимое состояние», — пишет он. Чем оно вызвано? Как его объяснить? Тынянов заново прочел этот маленький текст и положил его в основу первой части своего романа. Так, из строчки: «Юсупов сад. — Землестрясение. — Няня» — вышла удивительная по своей силе глава, в которой угаданы первые движения души маленького Пушкина, те движения, в которых уже виден будущий гениальный поэт.

Случалось, что самое глубокое знание материала все-таки не давало Тынянову возможности нарисовать историческую картину со всей полнотой. «Представление о том, что вся жизнь документирована, — ни на чем не основано: бывают годы без документов. Кроме того, есть такие документы: регистрируется состояние здоровья жены и детей, а сам человек отсутствует. И потом сам человек — сколько он скрывает, как иногда похожи его письма на торопливые отписки! Человек не говорит главного, а за тем, что он сам считает главным, есть еще более глав-

ное. Ну, и приходится заняться его делами и договаривать за него, приходится обходиться самыми малыми документами. Важные вещи проявляются иногда в мимолетных и не очень внушительных формах. Даже большие движения — чем они сначала проявляются на поверхности? Там, на глубине, меняются отношения, а на поверхности — рябь или даже — все, как было» (сборник «Как мы пишем»). Так, опираясь на ничтожные данные, на то, что можно назвать лишь тенью поступка, мысли, чувства, он угадывал главное и строил на нем свое повествование.

Такой «тенью» была любовь Пушкина «к неизвестной», любовь, «необычайная по силе, длительности, влиянию на всю жизнь, им самим не названная» (Ю. Тынянов). Многие исследователи (Гершензон, Щеголев) пытались угадать имя женщины, которую тайно и безнадежно любил Пушкин. Назывались имена Голицыной, Раевской. Прочтя по-своему лицейские элегии, сопоставив рассказы, записанные Бартеневым, изучив отношения Пушкина и Карамзина, Тынянов пришел к выводу, что этой любовью Пушкина была Екатерина Андреевна Карамзина. Он высказал гипотезу, что к ней относится посвящение «Полтавы», что создание «Бахчисарайского фонтана» связано с воспоминанием о Карамзиной, с ее рассказом. Он объяснил их последнее свидание, когда за час до смерти Пушкин позвал Карамзину, когда, прощаясь, она перекрестила его издаലെ, а он сказал: «Подойдите ближе и перекрестите хорошенько». И лишь окончательно убедившись в своей правоте, Тынянов стал писать об утаенной любви, прошедшей через всю жизнь Пушкина от лица до смерти.

В архиве С. М. Эйзенштейна нашлось его письмо Тынянову — глубокое и оставшееся новым — в понимании цвета, который был бы не «раскраской, а внутри-необходимым драматургическим фактором» в кинематографии: «Дорогой и несравненный Юрий! С громадным удовольствием прочел, сидя в доме отдыха в горах на китайской границе, Вашего Пушкина. В свое время меня в полный восторг привела Ваша гипотеза, изложенная в «Безымянной любви», и развитие этой темы здесь не менее увлекательно. Восторг этот имел и свой persönliche gründe...» (Рукопись).

Пораженный догадкой Тынянова, Эйзенштейн решил поставить фильм, посвящен-

ный Пушкину и его утаенной любви. В письме с необычайной отчетливостью раскрыта живописная гамма будущей картины: «Петербург последнего периода с выпадающим цветовым спектром, постепенно заглаживаемый мраком. В темном кадре лишь одно, два цветовых пятна. Зеленое сукно игрального стола, желтые свечи ночных приемов Голицыной... И полный тон концовки с гробом, увлекаемым в ночь... Игра цветовых и музыкальных лейтмотивов вырастала сама собой. Не хватало для сценария главного лейтмотива, что для фильма такого «персонального» типа просто необходимо... И тут дружеская рука указывает мне на Вашу «Безымянную любовь». Вот, конечно, тема. Ключ ко всему (и вовсе не только сценарно-композиционный). И перед глазами сразу же все, что надо... Так или иначе (если Вас не отпугивает тон и соображения моего к Вам послания), очень прошу «считать Вашего Пушкина» в изложенном разрезе сценария «за мной».

Думаю, что Тынянов с радостью согласился бы работать с Эйзенштейном, и можно не сомневаться в том, что роман о Пушкине нашел бы глубокое воплощение. Но письмо не было отправлено. Оно заканчивается припиской (от 4 января 1944 года): «Узнал, что Тынянов — умер. Письмо не отправил. Переделаю в статью: «Запоздавшее письмо».

В предвоенные годы мы виделись очень часто, почти каждый день. Я приходил к нему, мы шли гулять. Но неделя за неделей все короче становились наши прогулки: до Сенатской площади (он жил на улице Плеханова), до Адмиралтейства, до Казанского собора, до садика с воронихинской решеткой. Перед войною он уже с трудом спускался с лестницы, и случалось, что, постояв во дворе, мы возвращались обратно.

Тяжелая болезнь — рассеянный склероз, против которого до сих пор не найдено средства, — не лишила его душевной бодрости, энергии, живого интереса ко всему, что происходило в стране, в литературе. Он принимал участие в литературных делах ленинградских писателей, и мнение его считалось золотым, неоспоримым.

Незадолго до войны ленинградские писатели устроили торжественный вечер, о котором стоит упомянуть, потому что это был,

в сущности, единственный вечер, когда общечеловеческая любовь и глубокое признание Тынянова выразились с запомнившейся силой.

Он был строго требователен в вопросах литературных и никогда не боялся такой же строгой требовательности по отношению к себе. Любовь его к русской литературе была любовью к родине — этой мыслью было проникнуто все, что говорилось в тот вечер. И можно смело сказать, что вся его трудная, полная страданий жизнь была проникнута этим высоким чувством.

Во время войны, в тяжелых условиях эвакуации, он дрожащей рукой писал третью часть своего последнего романа. Он знал, что умирает, но ему хотелось, чтобы в этой третьей части юность Пушкина была рассказана до конца.

...Пушкина высылают. Белой ночью, которая яснее, чем день, он прощается с Петербургом, как с живым человеком. «Его высылали. Куда? В русскую землю. Он еще

не видел ее всю, не знал. Теперь увидит, узнает. И начиналось не с северных медленных равнин, нет — с юга, с места страстей, преступлений. Голицын хотел его выслать в Испанию. Выгнать. Где больше страстей? Он увидит родину, страну страстей. Что за высылка! Его словно хотят насильно завербовать в преступники. Добро же! Он уезжал. Вернется ли? Застанет ли кого? Или повернет история? Она так быстра» И дальше: «Он знал и любил далекие страны как русский. А здесь он с глазу на глаз, лбом ко лбу столкнулся с родною державой и видел, что самое чудесное, самое невероятное, никем не знаемое — все она, родная земля...»

Прощаясь с жизнью, писал Юрий Тынянов прощанье Пушкина с юностью. Но мужеством проникнуто каждое слово: «Выше голову, ровней дыханье. Жизнь идет, как стихи». Это было написано, когда все ниже клонилась голова, все чаще прерывалось дыханье...



киной над повестью о Ленине. Над продолжением своих воспоминаний работает генерал армии **А. В. Горбатов**.

На страницах «Нового мира» выступают также прозаики: **Ч. Айтматов, В. Аксенов, Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Войнович, Л. Волинский, И. Грекова, Ю. Домбровский, Н. Дубов, В. Каверин, Ю. Казаков, В. Липатов, В. Лихонос, В. Некрасов, В. Овечкин, В. Росляков, В. Панова, К. Паустовский, И. Соколов-Микитов, В. Тендряков** и другие.

Со стихами и поэмами обещали выступить в журнале поэты: **М. Алигер, А. Ахматова, П. Бровка, К. Ваншенкин, Р. Гамзатов, Е. Евтушенко, Л. Завальнюк, А. Жигулин, Карло Каладзе, Мустай Карим, Кайсын Кулиев, А. Кешоков, Р. Казакова, С. Капутикян, Н. Коржавин, В. Корнилов, Н. Королева, М. Квливидзе, А. Кулешов, М. Луконин, Н. Матвеева, Э. Межелайтис, Ю. Мориц, Н. Полякова, А. Прасолов, А. Прокофьев, Д. Самойлов, Я. Смеляков, В. Сергеев, Д. Сухарев, М. Танк, А. Твардовский, Я. Ухсай, В. Шефнер, С. Щипачев, Г. Эмин** и другие.

Наша литература движется общими усилиями не только писателей, но и миллионов читателей, требовательность которых к художественному слову постоянно растет. Редакция «Нового мира» надеется в новом году оправдать надежды, возлагаемые на наш журнал читателями.

Подписка на «Новый мир» принимается без ограничений городскими и районными отделами «Союзпечати», конторами, отделениями и агентствами связи, почтальонами, а также уполномоченными по приему подписки на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учебных заведениях и учреждениях.

Подписная цена:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

Главный редактор А. Т. Твардовский

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. К 5-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 7/IX 1964 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 7/X 1964 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
А 08435. Зак. 1977. Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636